

DOI: 10.17803/1729-5920.2021.175.6.023-035

И. А. Исаев*

Метафоры Закона: от «света» к «пламени»¹

Аннотация. В статье освещаются основные этапы становления такого филолого-юридического феномена, каким является метафора. Начиная с античных времен и вплоть до настоящего времени «метафорический императив» определял важнейшие аспекты формировавшейся правовой реальности. Перенос смыслов в юриспруденции принимал формы аналогии и объективного влияния символизации и виртуальных правовых конструкций.

Метафоры рассматривались и в качестве факторов формирования правовых теорий, сами выступая как некие «праформы». Метафоры не воспринимали в себя существующие сходства, а сами же их и создавали. В этом было их значение как «демиургических инструментов». Поэтому метафорическое выражение производили скорее эффекты, чем значения, но значения, ведущие к изменениям. Рождение нового правового смысла происходило в значительной мере спонтанно и непредсказуемо: известно, правоприменение подчас отличается от первоначального замысла правотворца и законодателя. Для точного установления содержания закона и необходимо юридическое познание его первоначального смысла. Герменевтическая проблема заключается в том, чтобы сгладить разрыв между законом и случаем. Изменение социальной или политической ситуации не должно детерминировать действующее право к устареванию: заложенная иррациональная эластичность правовой идеи дает поле действия.

Существуют и «резонирующие» метафоры, индуцирующие большое число импликаций, побуждающие все новые интерпретации, в которых выявляются скрытые импликации. Тогда неизбежно происходит определенная потеря смысла.

Таким образом, статья раскрывает: в истории права метафора прошла путь от мифологических и традиционных представлений до современной юридической фикции и «симулякра».

Ключевые слова: право; закон; метафора; символ; концепт; теория; норма; санкция; легальность; революция; террор; насилие; необходимость; участие; ордалия; обычай; традиция.

Для цитирования: Исаев И. А. Метафоры Закона: от «света» к «пламени» // Lex russica. — 2021. — Т. 74. — № 6. — С. 23–35. — DOI: 10.17803/1729-5920.2021.175.6.023-035.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16124.

© Исаев И. А., 2021

* Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой истории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Садовая-Кудринская ул., д. 9, г. Москва, Россия, 125993
iaisaev@msal.ru

Metaphors of the Law: from "the Light" to "the Flame"²

Igor A. Isaev, Dr. Sci. (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Head of the Department of History of the State and Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9, Moscow, Russia, 125993
iaisaev@msal.ru

Abstract. The paper highlights the main stages of the formation of such a philological and legal phenomenon as a metaphor. From ancient times to the present time, the "metaphorical imperative" has determined the most important aspects of the emerging legal reality. The transfer of meanings in jurisprudence took the form of analogy and the objective influence of symbolization and virtual legal structures.

Metaphors were also considered as factors of the formation of legal theories acting as some kind of "preforms". Metaphors did not perceive existing similarities, but they themselves created them. This was their significance as "demiurg tools". Therefore, metaphorical expression produced effects rather than meanings, but meanings leading to change. The birth of a new legal meaning was largely spontaneous and unpredictable: it is known that law enforcement sometimes differs from the original intention of the lawmaker and legislator. For the precise establishment of the content of the law, legal knowledge of its original meaning is also necessary. The hermeneutic problem is to bridge the gap between the law and the incident. A change in the social or political situation should not determine the current law to obsolescence: the inherent irrational elasticity of a legal idea provides a field of action.

There are also "resonating" metaphors that induce a large number of implications, stimulating new interpretations that reveal hidden implications. Thus, a certain loss of meaning inevitably takes place.

The paper clarifies: in the history of law, the metaphor has gone from mythological and traditional ideas to modern legal fiction and "simulacrum".

Keywords: law; law; metaphor; symbol; concept; theory; norm; sanction; legality; the revolution; terror; violence; necessity; participation; ordeal; custom; tradition.

Cite as: Isaev IA. Metafori Zakona: ot «sveta» k «plameni» [Metaphors of the Law: from "the Light" to "the Flame"]. *Lex russica*. 2021;74(6):23-35. DOI: 10.17803/1729-5920.2021.175.6.023-035. (In Russ., abstract in Eng.).

Политическая метафора рождается, когда Аристотель обнаруживает появление «общественного животного», человека, вышедшего из «Платоновой пещеры» и полагающего, что все тени вещей, там ему продемонстрированных, и есть настоящая реальность.

В атмосферу мифа политическая метафора через систему образов стремилась выйти на уровень рациональных понятий. Поиск истины приобретал новые черты. Бесконечные и однотипные метафоры могли включить лишь один смысл статичного образа. Миф же как система метафор строился всегда антиказуально, без учета причин и следствий: «*Центральный образ мифа невидим, но живет в разнообразных формах метафор; его можно вскрыть и вытащить на свет искусственно; он существует, когда его нет, но, появляясь, теряет свою сущность*»³.

Когда природа превращается в объективность, усиление человеческой власти ведет к отчуждению от того, на что эта власть распространяется.

Персонифицированная фигура необходимости впервые появляется в трудах Гераклита и Парменида, олицетворяя собой принцип, по которому «*трудящимся отказано в доле продукта их труда*»⁴: необходимость здесь оказывается связанной с нормированием. Рядом с судьбой в греческой трагедии возникает конструируемая мифологема правды и права — «дикэ». У Гомера это нормы человеческого поведения, обычай, относимый еще к области «доправа» и не закрепленный отвлеченно-юридическим термином «право», но сочетающий в себе значение права, правосудия, суда.

За идеей воздаяния за преступление просматривалась более общая идея порядка, с ко-

² The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-16124.

³ Фрейдсберг О. М. Миф и литература древности. М. : Директ-Медиа, 2007. С. 74.

⁴ Опианс Р. На коленях богов: истоки европейской мысли о душе, разуме, теле, времени, мире и судьбе. М. : Прогресс-Традиция, 1999. С. 528.

торым и связывалось представление о судьбе как необходимости. Мойры пристально наблюдают за происходящим. «Свет, источаемый из толщи мрака — вот прообраз самой мойры»⁵. Она — сестра ночи, мрак, владеющий душой и зернами света, орудующий бликами — мечами богини справедливости. Мечи куются в кузнице мойры, там же выковывается сама Дике, источник достоверного знания, преодолевающего конечность бытия, «твердость» ее обеспечивают справедливость и право. Ее суть переходит в право, преодолевая судьбу в трагедии Эсхила. Это и есть выражение мирового порядка и правопорядка.

Античная политика вся построена на заботе о полисе и целостности. Человек, политическое существо, оставался частью целого, и это было одним из фундаментальных тождеств, устойчивым метафорическим единением. В правах, праве, политике индивид возвышался над своей партикулярностью. Реальность, лежащая за пределами Платоновой пещеры, могла явиться ему только в виде «тени тени». Истинная реальность, или же «центральное солнце», лила свет из-за пределов этого «театра теней», выстраивая множество других «театров» в их взаимодействии. Объективно существующее право эманировало множество законов (и других прав), тем самым релятивизируя силу реальности: ассоциация солнца со светом закона, т.е. истиной оценки вещей и порядка, появляется на выходе из «пещеры тьмы и закулисья».

И уже мифологическая семантика порождает метафорическую форму сознания, отрывая ее от образной формы посредством создания фиктивной действительности, уподобления ей, иллюзии, которую могла передать метафора. Более же высокая способность интерпретации и смыслов — идеология, политика, законодательствования — будет позже «разоблачаться» как некий новый «театр теней», которым на самом деле управляет борьба сил, происходящая на другой, «более низкой сцене» (конфликт бессознательных желаний, экономика и пр.)⁶.

Метафора образовывалась самостоятельно будучи формой образа и функцией понятия. Для этого требовалось наличие двух тождественных конкретных смыслов, которые разрываются друг с другом. Каждый из них должен оставаться конкретным, а другой — только его

переложением в понятие: «Иллюзия кажущегося смысла должна была исходить из соответствия действительному смыслу и быть его «слепком», «подобием»»⁷.

Обобщающий смысл метафоры позволял строить ее, не считаясь с буквальным значением слов: по линии «образ — форма — понятие» происходила качественная трансформация метафорических смыслов.

Метафора на своем восхождении еще не могла породить право. Уровень достигнутого описания оставался скорее поэтическим или мифологическим, но все еще не рационально понятийным. В будущем ее роль в формировании правовой реальности сведется скорее к иррациональным эксцессам, осложняющим процесс правотолкования: метафора — это всегда перенос смыслов, право же считает своей задачей фикцию смыслов, придание им статичности.

Зато метафора может обеспечивать правоприменению значительно большую эмоциональность, свойственную ей образность, сохраняя известное ироническое отношение к фактам и реальности. Буквальность юридической метафоры могла быть выражена в предметности ее содержания: римская манципация работала посредством реальной руки (*mancipi*), как и виндикация (использование реальной палочки — *виндикты*). Этому следовало правило реального включения преступных животных в судебный процесс:

- бык — убийца;
- саранча — погубительница урожая.

Юридический «принцип аналогии» имеет своим глубинным происхождением метафорическое отношение к факту правонарушения. Метафора здесь уводит в сторону от буквального нормативистского истолкования, предлагая взамен более широкий взгляд на рождающееся право.

В действительности метафора восполняет отсутствующее звено между «есть» и «должен», связывает тем самым описание и представление (Ф. Анкерсмит).

Образность сама не создает выраженной метафоры «права» и «беззакония», «зла» и «правды». В архаическом мышлении такие понятия, как «дике» и «гибрис», «добро» и «зло», в качестве метафор означали именно стихии огня и воды, наполняя ими более обширные

⁵ Опианс Р. Указ. соч. С. 529.

⁶ Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. М.: Европа, 2008. С. 136.

⁷ Фрейдсбергер О. М. Указ. соч. С. 310.

метафорические пространства «неба» и «преисподней»: космологическая и эсхатологическая образность начинала приобретать некий этический потенциал. Собственно правовую значимость понятия получают не в связи с оценкой реального действия, а по неким «вообразительным нереальным архаическим образам, в силу тождественности субъекта и объекта, пассива и актива, слова и действия»⁸ (например, идея возмездия есть равенство поступка и наказания — талион, исходивший из образа равенства субъекта и объекта).

Нормативистский отказ от переноса смыслов был чреват многими юридическими апориями. Тогда же происходил и поиск эквивалентов действия-проступка и действия-наказания после установления выхода концепта-проступка за пределы сферы «нормального». Включение тождества в отношении этих действий неизбежно требовало использование метафоры или приблизительного сходства. На первый план тогда выступала идея «объективного вменения». Есть факт нарушения — будет применена мера наказания, то есть это нормативизация талиона, где причинно-следственная связь устанавливается сугубо внешним образом, без учета мотиваций, целей и даже этических побуждений: «Повязка на глазах Юстиции означает не только то, что в правосудие ничему не дозволено вмешиваться, но также и то, что оно ведет свое происхождение не от свободы»⁹.

Право рождалось из «до-права» вместе с формированием понятийного типа мышления и в процессе казуализации образа и его отвлеченного толкования. Право возникает впервые, когда происходит распад единого образа действий, когда появляются силы и вещи, уклоняющиеся от соблюдения этого порядка. Тогда же появляются меры принуждения, которым предшествует сознание известных мер поведения, сознание дозволенного и недозволенного.

Рождается архаическая метафористика: «Нормами считается все то, что было создано ею; не только не может быть речи о каких-то нормативах, врожденных от природы, о внеисторическом «нравственном чувстве» и «сознании должного», но нигде условность

не иронизирует с большей силой, чем именно здесь»¹⁰.

Метафора диктует отождествлять норму и ее нарушение: «Так возникает бессмысленная идея нормативного насилия над человеком со стороны человека как ответ якобы на нарушение нормы, как ответ на насилие не нормативное»¹¹.

Карая врагов культа и общины, толпа, масса, группа могла присваивать себе функции власти, облакая свои действия в соответствующие ритуальные формы. Рождалось формализованное право, усваиваемое общественным сознанием в качестве «общего» и традиции. Глубинные истоки юридического прецедента располагались на неправовом экзистенциальном уровне. Метафорический перенос позволял закреплять существующее в изменчивом потоке деятельности. Миметические свойства метафоры — в создании символического образа зеркала, отражающего (подобно закону) реальность: средневековые и более поздние кодификации получили название «зерцал».

Талион — своеобразная форма эквивалентного обмена между нарушителем и потерпевшим («обмен кровью») и сконструированной формой казуализации, созданной произвольно. На это указывает и круговая порука: порядок ответственности, налагавшийся не на самого исполнителя преступления, а на третьих лиц (родственников, членов общины), объединявший «пролитую кровь» и «пролившего кровь». Так зарождается талион как правовой обычай: «Нарушение нормы запрещается только нарушителю, но в отношении к нарушителю нарушение той же самой нормы дозволено. В этом логически и заключается «право». Ока вырывать нельзя; но если кто-то вырвал у кого-то око, то следует и у него око вырвать»¹².

Эквивалентность «проступка» и «наказания», содержащаяся в талионе, достаточно ясна: «вина» есть «смерть»; ответ на «убийство» — «убийство».

На идеях метафорического тождества виновного, вины и кары были основаны такие санкции, как побитие камнями, ослепление, разрывание тела и т. д.

⁸ Фрейдсбергер О. М. Указ. соч. С. 311.

⁹ Хоркхаймер М., Адорно Т. Дialeктика Просвещения. Философские фрагменты. М. ; СПб. : Медиум, Ювента, 1997. С. 31.

¹⁰ Фрейдсбергер О. М. Указ. соч. С. 111–112.

¹¹ Фрейдсбергер О. М. Указ. соч. С. 264–265.

¹² Фрейдсбергер О. М. Указ. соч. С. 273–274.

Преступник олицетворяет смерть, из-за чего заслуживает умерщвления. Древнее право не оправдывало, а примиряло — «метафорический эквивалент «воскресения из смерти»»¹³. Прекращению кровавой мести сопутствовало действие определенных норм:

- неприкосновенность преступника, прибегающего к алтарю;
- идея убежища;
- женитьба;
- укрытие женской одеждой и т. д.

Преступник проходил фазу «смерти», затем возрождался, месть тем самым погашалась. Доправовое наказание представлялось в качестве смерти с последующим неизбежным оживлением. Позже появится мысль о том, что отбытие наказания преступником погашает его вину. Отбывший наказание вновь возрождается. Лишение политических прав в обществе XIX в. определялось все еще термином «политическая смерть», это был иной способ исключить правонарушителя из «жизни».

Кардинальная идея талиона — «смерть за смерть» — подразумевала под самим понятием смерти полную ликвидацию «вины», вычеркивание преступника из жизни, исключение его из тотемной целостности. Изгнание физически почти что означало смерть в архаическом мировоззрении. «Смерть» была метафорой разнообразных символических процедур, применяемых к преступнику, роль которого совпадала с ролью жертвы («козла отпущения»), уничтожаемой, чтобы восстановить мир в коллективе¹⁴.

Жертвование, «разрывание на части тотема» или неплатежеспособного должника по Законам XXII таблиц в архаическом праве принимало ритуальную форму наказания. Акт разрывания базируется на генезисе кровной мести и «кровавых наказаний». Характерно, что оба — преступник и его жертва — представлялись коллективными и безличными. Тут возникает одна из нелогичных форм насилия — «идея ответственности невинного за виновного, та идея, диапазон которой расширен государством... начиная с идеи заложничества и кончая иде-

ей патриотизма с его требованием смерти многих ради жизни нескольких»¹⁵.

Эквивалентом «смерти» могла стать денежная мзда или заточение. О. М. Фрейденберг сомневалась, что «денежное возмещение как наказание моложе казни, являясь его позднейшим смягчением». Сама идея денежного искупления вины для нее бессмысленна: «...Нет ничего общего между совершенным поступком и уплатой денежных значков, что было бы совершенно непонятно, как убийца мог откупаться суммой денег от членов рода убитого»¹⁶.

Идея тюрьмы (заточения) может быть понятна только в свете метафорической «узы» или «метафоры смерти»:

- в древности преступники подобно пленникам и рабам — узники;
- тюрьма есть «узилище»;
- тюрьма есть место заточения, аналогичное преисподней («темная, мрачная яма, всегда “подземная” — подземелье, где в полной темноте и бездействии сидит, скрытый от света, “связанный”, носитель “смерти”»¹⁷).

* * *

Пенитенциарная тематика, имевшая своим истоком, видимо, также Платоновскую пещеру, продолжается на исходе барокко в адových интерьерах тюрем на гравюрах Дж. Пиранези Le Carceri d'Invenzione¹⁸. Свет просвещения проникнет в тюремную среду в паноптикум И. Бен-тама, обеспечивая однонаправленную прозрачность контроля, укрыв наблюдателя от взглядов наблюдаемых. Тюремная метафора, кажется, впервые включает в свое содержание новые технические элементы подобно зарницам грядущей эпохи машин и конструкций (гравюра VI второго издания Le Carceri d'Invenzione Дж. Пиранези).

Средневековая ордалия превращается христианством из соревнования противоборствующих стихий в суд Божий. «Огонь» и «вода» в своем метафорическом значении составляли первоначально суд, оправдывающий или обви-

¹³ Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 264–265.

¹⁴ См.: Жирар Р. Насилие и священное. М. : Новое литературное обозрение, 2000. 400 с. ; Он же. Козел отпущения. М. : Издательство Ивана Лимбаха, 2010. 336 с.

¹⁵ Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 209.

¹⁶ Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 272.

¹⁷ Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 272.

¹⁸ Le Carceri d'Invenzione (итал.) — «Воображаемые тюрьмы».

няющий человека. Олицетворенные природные силы решали спор, затем эта миссия перешла высшим, духовным силам. Участие человека-судьи (а это всегда — жрец или вождь) ограничено и должно соотноситься с метафизическими и трансцендентными началами — «свет» и «тьма». Их столкновения составляли основной мистический контекст спора.

Метафорика «божьего суда» сменилась казуистическим разбирательством, где случай оттеснялся аргументацией и риторикой, в которых превалировали рациональные доводы, сами ориентированные на «свет разума» и нормативную необходимость. Символика приобретала преимущественно орнаментальный характер.

Греческая гелиэя метафорически аналогично строилась с солнечным кругом, площадью, народным собранием. Такой «суд присяжных» — видоизменение «народа»; и суд, и собрание происходили на агоре, площади-рынке (локальный эквивалент «суда» и «народа»). Первоначально античный суд есть ритуально-сакральный, загробный (но не правовой), происходящий в театре и при народных состязаниях:

- сценический и игровой суд присуждает награду — победа, слава, то есть жизнь;
- правовой суд — не более чем эквивалент загробного суда, получивший новый концептуальный вектор, что подтверждается его функциями («*карать, присуждать "смерть" или "мзду"*») ¹⁹.

Введение к трактату «Молот ведьм» гласит: *«В наше время, когда вечер мира клонится к полному закату, старое зло, не прекращавшее ни на одну минуту, в силу неиссякаемого вреда своего падения, насылать на мир полную яда заразную чуму, особенно отвратительным образом проявляет себя, так как в своем великом гневе чувствует, что в его распоряжении осталось мало времени»* ²⁰. Я. Шпренгер и Г. Инститорис предполагали, что ведьмовство есть не мистический и магический элемент зла, но и реальная юридическая составляющая, элемент вредительства. По аналогии с римским правом, беспощадно карающим «малификов», зловредителей-преступников, закон должен наказывать этих преступников без внимания к раскаянию и признанию. Совершенные или

«невидимые преступления» (ночные полеты) и «двойники» (фантастикумы у Блаженного Августина) представлялись суду незыблемыми фактами и бесспорными аргументами.

Инквизитор — судья и духовник, борющийся за спасение душ, влекомых заблуждением в вечную гибель, выведывающий сокровенное. Факты он мог по своему усмотрению принимать или отрицать ²¹. На суде «выяснялась», «высвечивалась» истина. Иногда за этим наблюдал «весь народ». Ордалия и судебные поединки представляли по-настоящему театрализованное зрелище: на сцене происходил переход из жизни в смерть. Логос-смерть и логос-жизнь противоборствуют друг с другом.

Доискивание истины приобретает более жесткие и репрессивно-организационные формы. Следует уже не ждать появления истины, ее нужно добиваться, применяя соответствующие юридические техники. Пытать, допытываться, используя формализованные доказательства, заранее оцененные протоколом и традицией, означало отказ от гадательной методики античных времен и раннего Средневековья. (В том же направлении шло и развитие алхимических техник испытания и «истязания» материи, лежащих в основании будущих научно-исследовательских методов.) Испытующий огонь ордалии заменяется очистительным огнем судов инквизиции, а спор как форма суда — розыском.

Истязание человеческой природы экспериментами (к чему явно склонялись еще Ф. Меланхтон и его последователи) обусловлено юридической метафорикой судебного испытания и мифом об инквизиции. В юридическом контексте это наименование употребляется после введения процедуры, призванной облегчить возбуждение судебного процесса против представителей высшего клира (прежде процесс мог быть возбужден истцом, теперь же специальным органом). Позже понятие «инквизиция» расширяется из-за преследования еретиков, а пытка не является непременным атрибутом инквизиционного судебного процесса и используется не только в нем. Так, Ф. Бэкон, говоря об «*искусстве исследования*», подразумевает и пассивное наблюдение, и принудительное «*вздвигание на дыбу*» природы.

Начиная с XIV в. «инквизиторская модель» сдвигалась и постепенно перестраивалась, пре-

¹⁹ Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 276–277.

²⁰ Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. Саранск : Норд, 1991. 352 с.

²¹ Бёмер Г. Иезуиты. Г. Ч. Ли. Инквизиция. СПб. : Полигон, 1999. С. 1008–1011.

вращаясь в основание для общего процесса формирования естественных наук. Лозунг «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача» (И. В. Мичурин) определяет экспериментирование. Расследование на контрасте с авторитетом традиции и с «разрешением спора посредством символического испытания» применяется в научных практиках и теоретически разрабатывается в методологической рефлексии. Ф. Бэкон переносил этот метод в разные типы дискурса. (На роль бен-тамовского паноптикума в этом продвижении идеи розыска и наблюдения будут позже указывать Э. Кассирер и М. Фуко²².)

Формализацию судебного процесса демонстрировали подробная и неизменная процедура, распределение ролей и набор юридических формул, использованные судьями и обвиняемыми (когда обвиняемые не могли разговаривать, в случаях с процессами над животными, им предоставлялась юридическая защита, выполнявшая функции представителя). Природная стихийность окончательно подчиняется технической рационализации. Наступала эпоха Возрождения с ее новым культом науки.

Классическая метафора у стоиков, скорее всего, созерцательна:

- свет показывает сам себя и в то же время пребывающие в свете вещи;
- представление показывает и себя, и то, что представляют.

Такой показ («явленность», по М. Хайдеггеру) не удовлетворил очевидности, характерной для стоического восприятия. На место метафоры «света» приходит метафора «чеканящей печати», моделирования познающего органа (Х. Блюменберг)²³.

Принудительный характер познания, «испытание материи» прослеживается и через патристику и схоластику вплоть до Нового времени. Особый же вариант метафоры «могущественной истины» встречается в судебной метафорике Тертуллиана: средневековый схоластический диспут живет «закулисным» представлением об истине. Необходимо было

заставить истину говорить, для чего применялись насилие и труд.

В эпоху Возрождения большое значение приобретает инженерный и ремесленный опыт, с помощью которого вещи аналитически разбираются и собираются вновь.

* * *

В Платоновой пещере, подчеркивал Дж. Бруно, люди убеждены: истинно сущее есть не что иное, как только тени предметов, созданных руками человека. Их освобождение, исцеление от оков и неразумение может вызвать боль, а мерцание в глазах не позволило им разглядеть вещи, тени которых они видели прежде. Миф о природе познания, таким образом, в основе своей имеет тот же образ тени: у Дж. Бруно метафора поиска границы тени приводит к новому прочтению и мифа о пещере²⁴ — вместо «пещеры» объективно должен возникнуть Город Солнца Т. Кампанеллы.

В «Изгнании торжествующего зверя» Дж. Бруно утверждает словами Юпитера: радикальная эпическая реформа может помочь вырваться из «тьмы». Тема гигантомании в античные времена ассоциировалась с борьбой за власть: гиганты у Вергилия, Горация и Овидия объединялись с титанами и выступали бунтовщиками, посягнувшими на существующий порядок, тем самым создавая хаос. Но победа богов приводит к появлению новых «божественных законов», «специально установленных, чтобы подавить силу тех, кто совершает преступления и оспаривает власть царя». Бог-громовержец Зевс сочетается с Фемидой (закон, порядок), рождающей Эвномию (благозаконие), Дике (справедливость), Эйрену (мир).

Юпитер безошибочно устанавливает врагов справедливости: «...Пусть суд изучит, не губят ли... грамматики, делая вид, что они желают исправить накопившиеся законы... все, что есть в них хорошего, и не укрепляют ли они и не возносят ли до облаков все, что может в них быть или что можно вообразить извращенного и пустого»²⁵. Божественный и

²² Даннеберг Л. Смысл и бессмысленность истории метафор // История понятий, история дискурса, история метафор : сборник статей / под ред. Х. Э. Бёдекера. М. : Новое литературное обозрение, 2010. С. 264–265.

²³ Цилл Р. Субструктуры мышления. Границы и перспективы истории метафор по Х. Блюменбергу // История понятий, история дискурса, история метафор. С. 185.

²⁴ Ордине Н. Граница тени: литература, философия и живопись у Джордано Бруно. СПб. : Издательство СПбГУ ; Академия исследования культуры, 2008. С. 264.

²⁵ Ордине Н. Указ. соч. С. 175–176.

государственный законы должны действовать совместно: слава республиканского Рима, полагал Дж. Бруно, заключена в его способности через почитание богов приводить людей к любви к родине и закону, сохранять единство и благополучие общества.

Диалектика «света» и «тени» в «Тенях идей» Дж. Бруно, погруженная в затемненное сознание, легко смешивает истину сложным подобием. Одна и та же вещь может быть как благотворной, так и вредной: солнце освещает или ослепляет; тень мрачна (тень смерти) или подготавливает «взгляд к свету»²⁶.

Без познавательной силы тени нельзя дойти до материальной сущности вещей.

Эпоха барокко вновь возродила и оживила идущее от Античности искусство эмблематики. По своей сути эмблема — визуальная метафора. В своем объяснении к «Основаниям новой науки об общей природе вещей» Дж. Вико дал поразительный образ метафизики, представленной на картине, выражающей идею всего произведения: сделано это для того, чтобы облегчить понимание и запоминание самой идеи книги, включив воображение и память. Метафору особо восхваляют, когда «вещам бесчувственным она дает чувство и страсть». Поэтому первые поэты «наделяли тела бытием одушевленных субстанций, обладавших только тем, на что они сами были способны, т.е. чувством и страстью; так поэты создавали из тел мифы, и каждая метафора оканчивается маленьким мифом»²⁷. Все метафоры способны сочетать конструктивистские формы и разрушать субъект, отделяя первичную форму от привнесенной противоположной. Дж. Вико пишет: «Такое сочетание представлений создавало поэтические чудовища»²⁸. В римском праве каждый отец семейства наделялся тремя головами для обозначения трех жизней, т.е. статусов — свободы, гражданства, семьи.

Древняя и средневековая юриспруденция переполнена фантастическими фигурами и объектами, реально существующими в судебном процессе и кодификационных конструкциях. На этом этапе познания возникал парадокс, подобный фигуре, рождающейся из разрыва между кажимостью и реальностью. Здесь лежит исти-

на мира, и смутные очертания лишь улавливаются, а вещи приобретают самый неожиданный вид: «...Все, что казалось реальным и окончательным, внезапно может проявить свой преходящий характер... отречься от своей временной поверхности, чтобы перейти в иную форму или иное измерение»²⁹.

В процессе становления «та или иная форма исчезает, то или иное существо гибнет, но в то же время где-то возникает другая форма, на свет рождается новое существо»³⁰. Сложные составы распадаются, но неразрушимые элементы блуждают от одного соединения к другому, ни на миг не прекращая движения, без остановки и покоя. Таким образом, это образует, с одной стороны, поток неизменных форм, с другой стороны, сохранение идентичности неделимых частей. Формирование прецедентного права демонстрировало такую закономерность, выделяя и соотнося отдельные правовые казусы со всей прошлой и открытой в будущее системой правовых решений. Смыслообразования приобретали континуальность, связывающую фрагментарное с всеобщим и единым.

Т. Гоббс использовал галилеевское понятие механической силы и закон инерции — метафоры политической власти. Метафора имеет вполне реальные последствия для актуальной политической практики. Статуты, инструкции, законы не служат только правилами поведения людей, а скорее определяют набор тем, парадигм, метафор, задающих рамки для осмысления социального действия. Цель законодательства — оставлять пространство чиновнику и гражданину для их разумного взаимодействия (Д. Уайт). Метафора становится нормативным выбором для законодательства. Р. Бойль подчеркивал, что умело подобранное и хорошо примененное сравнение помогает воображению, иллюстрируя трудноразличимые предметы и факты, представляя их с помощью более знакомого. Научнообразный «макроскопический» подход ученого модифицирует аристотелевский постулат: метафора имеет двойную функцию — она есть суть и риторическое стилистическое средство (способствующее познанию, просвещению, осведомлению).

²⁶ Ордине Н. Указ. соч. С. 114–115.

²⁷ Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М. ; К. : Refl-book ; ИСА, 1994. С. 146.

²⁸ Вико Дж. Указ. соч. С. 149.

²⁹ Ордине Н. Указ. соч. С. 111–112.

³⁰ Ордине Н. Указ. соч. С. 297.

* * *

В XVII в. в Версале политическая метафора приобретает новую жизнь в символике «короля-Солнца». «Свет» приобрел свой политический и космологический центр. Абсолютная монархия приобрела свой архетипический образ. Если символ — это совпадение чувственного и сверхчувственного, то аллегория — значимая связь чувственного с внечувственным. Здесь символическое (мифологическое) изображение отделяется от схематического, органически выпрессовывающий символ — от холодной и рассудочной аллегории.

Аллегория, всё еще близкая эмблематике, утрачивает свой важный ресурс — символ, в связи с чем метафора окончательно порывает с мифом. С этого времени политически «миф» приобретает декоративный, театральный характер, теряя свой первоначальный смысл. Образ абсолютизма, как и образы стиля рококо, живописны, не более того. Закон этой эпохи почти срастается с литературой, теории закона — это настоящая поэтика правоведения, метафора права и литература сливаются воедино. Сама истина приобретает структуру вымысла, и символические маски Закона становятся намного важнее реальности существования тех, кто их носит, область символической власти — важнее реальности ее представителей³¹.

В режиме абсолютной монархии властитель мог истолковывать свои слова также и вопреки правилам толкования, не очень заботясь о том, чтобы конкретный случай получил справедливое истолкование. Суверен мог добиться того, что кажется ему справедливым, будучи не связанным законом, не считаясь с ним, не стремясь к его истолкованию³².

В правовом государстве возникает гарантия законности, когда существует возможность предвидения последствий закона. Здесь задача истолкования — задача конкретизации:

- происходящее продуктивное расширение закона осуществляется уже в процессе правоприменения;
- правопорядок предполагает, что судебное решение будет основано не на непредска-

зуемом произволе, а на справедливом рассмотрении целого.

Историческая школа права (К. Савиньи) проигнорировала напряжение между первоначальным и актуальным юридическим смыслом нормы. Эта юридическая фикция опровергалась фактом того, что первоначальное смысло содержание закона и смысло содержание, применяемое в юридической практике, в реальности отделены друг от друга. Закон есть нечто всеобщее и не может быть справедливым к каждому³³.

Переход от максим абсолютизма «государство — это я» и «закон — мое желание» к режиму правового государства меняет тип представления о справедливости, но оставляет открытой проблему ее адекватности.

Ф. Бэкон считал самыми тягостными «идолов площади», которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди наивно верят, что их слова подчиняются разуму. Тем не менее одни идола — «имена несуществующих вещей», другие — «имена существующих вещей, но неясные, плохо определенные и необдуманно и необъективно отвлеченные от вещей»³⁴. Последние мы можем назвать симулякрами. Такие понятия, как «судьба», «правообладатель», «круги планет», «элемент огня», философ прямо относит к бессодержательным метафорам.

Рационализм Нового времени требовал предельной ясности при передаче смысла в право толковании, который сам, по сути, становился сугубо человеческим творением, интеллектуальной конструкцией. Понятным может быть только то, что имеет внутреннюю смысловую цельность. Смысл закона и его применение к конкретному случаю в идеале должны составлять единый процесс³⁵.

В истории использования креативных метафор имеет место безграничное многообразие значений, что исключает возможность перефразировать, перенести на другой язык или заменить метафорическое выражение, что и делает его уникальным. «Напряженные» метафоры непередаваемы, так как сознают новые значения: их парафразы бесконечны и не ис-

³¹ Даннеберг Л. Указ. соч. С. 242 ; Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988. С. 119–125.

³² Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 385–387.

³³ Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 593–594.

³⁴ Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1972. Т. 2. С. 25.

³⁵ Бэкон Ф. Указ. соч. С. 25.

черпывают семантических инноваций метафорического выражения. Тот, кто инициирует метафорическое выражение, может иметь в виду какое-то определенное значение. Перевод креативных метафор на другой язык должен носить буквальный характер. В ходе перевода не может осуществляться переход значения, что придает креативной метафоре онтологическое значение³⁶.

Метафора же обладала свойством порождать все новые интерпретации смыслов, таящих в себе новые возможности к применению. В известной мере первоначальный смысл тогда утрачивается, зато возрастает способность «просвещать и осведомлять»: таковы все базовые метафоры типа «организм», «механизм», «формализм» и т. п. В любом случае метафора оставалась способом скрытого переноса смысла, лежащего в основе мироустройства³⁷. Метафорическое пространство принимало поистине космические масштабы. Горизонт перестает быть застывшей границей, он передвигается вместе с познанием...

Х. Вольф, поясняя нововременную техницистскую метафору «мир есть машина», замечал, что машина — собранное произведение, движение которого определяется тем, как оно собрано. Мир тоже собранная вещь, изменения которой определяются тем, как она собрана, поэтому мир — машина.

Мир может быть и театром (У. Шекспир), и «зеркалом», которое у И. Канта, Дж. Локка и Р. Декарта органично превращается в «свет разума». Но уже у Цицерона наиболее значимым символом становится «солнце». Н. Коперник описывал процесс, как Солнце восседает и правит своими детьми-планетами: здесь древнюю метафору «король-Солнце» можно рассматривать в соответствии со средневековыми геоцентрическими представлениями, которыми пользовался еще и Т. Браге.

У Н. Коперника, однако, метафорически переносное значение получает новое описание, что позволяет предположить, что в социальной и политической системах происходит не-

что существенное³⁸. «Свет солнца» всё более отвлечен от своей субстанции, более рассеян, умозрителен. Законность его пребывания в пределах королевского двора становилась всё более спорной.

* * *

XVIII век в своих правовых теориях отдавал предпочтение просвещающим «световым» метафорам. Даже лексическая неопределенность в то время выглядит некой моральной чернотой.

Произвол был более понятен просвещенным политикам в качестве недостатка государственной системы, чем принципиально несистемный элемент, определяющий общественный порядок. Преднамеренные размытость и тавтологичность принципов конституирования власти воспринимается как признак внутренней фальши. Темный и мрачный в переносном значении (еще более того — непонятный) термин «чернота» в переносном смысле означал заведомо преступное злодейство:

- темным искусством, чья таинственность состоит в его черноте, называет Ж.-Ж. Руссо абсолютистское государственное управление;
- О. Мирабо намекал на сумрачную природу секретов власти, где темноту уже пронизывают «лучи просвещения» и политика перестает быть таинством, ищущим темноту, чтобы скрыть свое уродство³⁹.

Свет знания призван был разрушить тьму традиционных предрассудков в политике. Ж. Кондорсе в труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» называл Великую революцию неминуемой: развращенность и невежественность правительств не позволяет им предупредить и согласовать свои действия с принципами природы и озарениями масс⁴⁰.

Властителям и суверенам всегда были близки следующие образы: «солнце», «лев», «золото». Справедливость всегда предпочитала «свет». Поэтому свет солнца (классическая базовая метафора) свободно переходил из аб-

³⁶ Даннеберг Л. Указ. соч. С. 250–251.

³⁷ Даннеберг Л. Указ. соч. С. 287.

³⁸ Даннеберг Л. Указ. соч. С. 292–294.

³⁹ Неклюдова М. С. В тени кабинетов: из истории политического воображения XVI–XVIII вв. // Понятие, идеи, конструкции. Очерки сравнительной исторической семантики : сборник статей. М. : Новое литературное обозрение, 2019. С. 312.

⁴⁰ Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М. : Государственная публичная историческая библиотека России, 2010. 230 с.

солютистской монархической терминологии в революционный демократический лексикон. Под лучами «солнца Просвещения» рождался новый политический «мир», пусть даже это рождение и проходило в «буре и натиске» под напором революционной стихии.

Вода и огонь в природе всегда были враждебны друг другу. Просвещенный человека смел заставить обе стихии служить себе. В политической жизни требовалась также сила, например императивно снять противоречия между законом и беззаконием путем признания связи между ними. Т. Джефферсон мечтал использовать само беззаконие в качестве «жизненной силы изменения вещей». Силы революции и пассивного послушания есть две стороны одного и того же явления, «без которого историческая связь не существует»⁴¹. Потенциальный консерватизм и потенциальная революционность издавна присутствуют в каждом человеке. Задачей революции всегда остается создание «нового человека».

В начале XVII в. теологи революции предсказывали и ассоциировали «обновление мира» с «мировым пожаром», «полной реформацией, творимой священным огнем» (Я. Коменский). Слияние огня с политическим началом относит нас к древней архаике. «Огонь всё охватит, осудит и казнит» (Гераклит). Двойственным образом революции стали «кровь» и «огонь».

Революция провозглашала связь «огня» и «свободы» со состраданием и угнетением, которые она была призвана уничтожить, и очень скоро «то, что было внутренним светом, превращается в пожирающее пламя, обращенное наружу»⁴² (К. Маркс). Прометея сменяет герой утопической революции, «поджигатель» и устроитель мирового пожара.

Революция рождена в метафоре...

Революция — это «искра» и «пламя», «буря» и «ураган», «река» и «поток». «Рожденная в таинственных, но законосообразных сферах небес, только астрономическая революция, и она же обращение, могла как фигура речи и фигура мысли дать политическому сознанию особое удовлетворение с неким оттенком освященности»⁴³ (М Ласки). Священная ярость, надежды на искупление, определенный ход планет и ожидание золотого века — все это

определялось скрытым архетипом первобытного мира. Через всю систему проходила стержневая символика: «политикой» движения в раю управляет метафорический императив. Революция не могла обойтись без сакрализации своих идеалов, устойчивых трансцендентных оснований.

В средневековой готике храмовая архитектура соотносилась с символической моделью, предложенной «Суммой теологии» (Ф. Аквинский). Пламенеющая готика восприняла образ очищающего и стремящегося в небо огня. Линейная перспектива времен Ренессанса выражала принудительность рационализации, которую осуществлял человек в пространстве. Революция выражала стихию, взрыв и пламя. Красный цвет революционного знамени символизировал кровь и огонь.

Неслучайно революционные преобразователи именно в храмовых помещениях устраивали свои театрализованные политические спектакли. Театральный стиль классицизма интерпретировался в романтическом духе и с присущей ему ироничностью. Теперь вместо короля, танцующего на сцене, на подмостки поднимались декорированные в античном республиканском стиле актеры, изображающие Справедливость, Закон или Верховное существо: политика и поэтика в революции вновь соединились. Эта манера была перенесена в конструкции искусства: — «говорящая архитектура» К.-Н. Леду с его шарообразным дворцом закона; — стиль одежды, повторяющий античные образцы и живопись (псевдо-Античность Ж.-Л. Давида).

Ритуализация политических заседаний революционных органов власти с их художественной риторикой, поэтический экспрессионизм языка деклараций и законов, мрачный символизм гильотины, возрождение архаического института заложничества и коллективной ответственности — всё это изобиловало метафористскими отсылками и аллюзиями.

Свет «солнца истины» абсолютно справедлив, и в революции оправдана метафизическая задача прометеевского огня. На свет теперь предлагается смотреть прямо и непосредственно, а не через «тусклое стекло, гадательно» (ап. Павел, Кор. 13, 12).

⁴¹ Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М. : ББИ, 2002. С. 22.

⁴² Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М. : Госполитиздат, 1956. С. 77–78.

⁴³ Ласки М. Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление : антология зарубежной литературы. М. : Прогресс, 1991. С. 192.

Революция требует полной ясности, отвергая метафоры общего характера: абстрактный рассеянный «свет» заменяется конкретным и обжигающим пламенем, в нем сгорает Старый мир; наука Нового времени требовала отречения от смысла, замены его формулой, призыва — правилом и вероятностью.

Акты революционного террора, даже юридически (или внеправовым образом) оформленные, в своем глубинном основании оставались атавистическими актами коллективного жертвоприношения:

- нужно было уничтожить скрывающегося в «темноте» потенциального врага, вывести его на свет (тотемистический акт);
- «расчленить» (гильотинировать), публично умертвить его;
- наказываемый — уже не ближний, а нейтральный объект, подходящий для переноса на него чужой вины. «Враг — это тот, чью историю ты слушать обязан»⁴⁴ (С. Жижек).

Дальнейшей целью наказания становилось устрашение. Страх в качестве политического фактора широко использовался обществом в ситуациях кризиса и революции.

Метафоры начинали играть особую роль, создавая эмоционально-напряженные образы, воздействующие на подсознание:

- «гидра контрреволюции»;
- «ползущий змей предательства»;
- «нож в спину революции»;
- «карающая рука народа»;
- «свет правды».

Яркие художественные образы приобретали политическое выражение и юридическое значение, побуждая прибегать к оформлению на языке законов и декретов и к соответствующим мерам:

- революционный террор;
- чрезвычайное положение;
- скорые судебные решения;
- особый порядок судопроизводства и пр.

Язык метафоры пропитывал правовые тексты и юридическую риторику.

И в настоящее время метафоры не собираются уходить из юриспруденции окончательно...

Что же касается «смысла» — одной из самых трудных философских категорий, с которыми оперирует метафора, здесь имеет место особый вид бытия, не материального, но и не идеального, вовлекающий метафорические императивы в специфическое пространство своего существования. Ведь тогда и само право приобретает пограничные характеристики, питаемые и воображаемые действительностью...

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бёмер Г. Иезуиты. Г. Ч. Ли. Инквизиция. — СПб. : Полигон, 1999. — 1248 с.
2. Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения : в 2 т. — М. : Мысль, 1972. — Т. 2. — 582 с.
3. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М. ; К. : Refl-book ; ИСА, 1994. — 656 с.
4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. — М. : Прогресс, 1988. — 704 с.
5. Жижек С. О насилии. — М. : Европа, 2010. — 178 с.
6. Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. — М. : Европа, 2008. — 516 с.
7. Жирар Р. Козел отпущения. — М. : Издательство Ивана Лимбаха, 2010. — 336 с.
8. Жирар Р. Насилие и священное. — М. : Новое литературное обозрение, 2000. — 400 с.
9. История понятий, история дискурса, история метафор : сборник статей / под ред. Х. Э. Бёдекера. — М. : Новое литературное обозрение, 2010. — 319 с.
10. Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. — М. : Государственная публичная историческая библиотека России, 2010. — 230 с.
11. Ласки М. Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление : антология зарубежной литературы. — М. : Прогресс, 1991. — 405 с.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. — М. : Госполитиздат, 1956. — 689 с.
13. Неклюдова М. С. В тени кабинетов: из истории политического воображения XVI–XVIII вв. // Понятие, идеи, конструкции. Очерки сравнительной исторической семантики : сборник статей. — М. : Новое литературное обозрение, 2019. — 325 с.
14. Опианс Р. На коленях богов: истоки европейской мысли о душе, разуме, теле, времени, мире и судьбе. — М. : Прогресс-Традиция, 1999. — 592 с.

⁴⁴ Жижек С. О насилии. М. : Европа, 2010. С. 40.

15. Ордине Н. Граница тени: литература, философия и живопись у Джордано Бруно. — СПб. : Издательство СПбГУ ; Академия исследования культуры, 2008. — 405 с.
16. Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. — М. : ББИ, 2002. — 666 с.
17. Фрейдсбергер О. М. Миф и литература древности. — М. : Директ-Медиа, 2007. — 1175 с.
18. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. — М. ; СПб. : Медиум, Ювента, 1997. — 312 с.
19. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. — Саранск : Норд, 1991. — 352 с.

Материал поступил в редакцию 20 марта 2021 г.

REFERENCES

1. Boehmer G. Iezuity. [Jesuits]. Lee GCh. Inkvizitsiya [Inquisition]. St. Petersburg: Polygon Publ; 1999 (In Russ.).
2. Bacon F. Novyy organon [New Organon]. In: Works: in 2 volumes. Vol. 2. Moscow: Mysl Publ.; 1972 (In Russ.).
3. Vico J. Osnovaniya novoy nauki ob obshchey prirode natsiy [Foundations of a new science about the general nature of nations]. Moscow: Repl-book; ISA Publ.; 1994 (In Russ.).
4. Gadamer HG. Istina i metod: osnovy filosofskoy germeneytiki [Truth and Method: Foundations of Philosophical Hermeneutics]. Moscow: Progress Publ.; 1988 (In Russ.).
5. Zhizhek S. O nasilii [About violence]. Moscow: Evropa Publ.; 2010 (In Russ.).
6. Zhizhek S. Ustroystvo razryva. Parallaksnoye videnie [Device rupture. Parallax vision]. Moscow: Europe Publ.; 2008 (In Russ.).
7. Girard R. Kozel otpushcheniya The Scapegoat. Moscow; Ivan Limbakh Publishing House; 2010 (In Russ.).
8. Girard R. Nasilie i svyashchennoye [Violence and the Sacred]. Moscow: *Novoe literaturnoe obozrenie*; 2000 (In Russ.).
9. Boedecker HE, editor. Istoriya ponyatiy, istoriya diskursa, istoriya metafor : sbornik statey [History of concepts, history of discourse, history of metaphors: collection of articles]. Moscow: *Novoe literaturnoe obozrenie* Publ; 2010 (In Russ.).
10. Kondorcet J. Eskiz istoricheskoy kartiny progressa chelovecheskogo razuma [Sketch of the historical picture of the progress of the human mind]. Moscow: State Public Historical Library of Russia; 2010 (In Russ.).
11. Laski M. Utopiya i revolyutsiya [Utopia and revolution]. In: Utopia and utopian thinking: an anthology of foreign literature. Moscow: Progress Publ.; 1991 (In Russ.).
12. Marks K, Engels F. Iz rannikh proizvedeniy [From early works]. Moscow: Gospolitizdat Publ.; 1956 (In Russ.).
13. Neklyudova MS. Vteni kabinetov: iz istorii politicheskogo voobrazheniya XVI–XVIII vv. [In the shadow of the offices: from the history of the political imagination of the 16th — 18th centuries]. In: Concept, ideas, constructions. Essays on comparative historical semantics: a collection of articles. Moscow; New Literary Review; 2019 (In Russ.).
14. Onians R. Na kolenyakh bogov: istoki evropeyskoy mysli o dushe, razume, tele, vremeni, mire i sudbe [On the knees of the gods: the origins of European thought about the soul, mind, body, time, peace and destiny]. Moscow: Progress-Traditsiya Publ.; 1999 (In Russ.).
15. Ordine N. Granitsa teni: literatura, filosofiya i zhivopis u Dzhordano Bruno [The border of the shadow: literature, philosophy and painting by Giordano Bruno]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House; Academy for Cultural Research; 2008 (In Russ.).
16. Rosenstock-Hyussi O. Velikie revolyutsii. Avtobiografiya zapadnogo cheloveka [Great revolutions. Autobiography of a Western Man]. Moscow: BBI Publ.; 2002 (In Russ.).
17. Freidenberg OM. Mif i literatura drevnosti [Myth and literature of antiquity]. Moscow: Direct-Media Publ.; 2007 (In Russ.).
18. Horkheimer M, Adorno T. Dialektika prosveshcheniya. Filosofskie fragmenty [Dialectics of Enlightenment. Philosophical fragments]. Moscow; St. Petersburg: Medium, Yuventa Publ.; 1997 (In Russ.).
19. Sprenger Ya, Institoris G. Molot vedm [The Hammer of witches]. Saransk: Nord Publ.; 1991 (In Russ.).